

*С.Н. Лютова,  
к. филол. наук, доц. кафедры философии  
МГИМО (У) МИД РФ (Москва)*

### **М. Волошин: личность и культурософия русской революции**

Профетизм поэзии М. Волошина 1917–1929 гг. сегодня привлекает внимание её популяризаторов – Э.М. Розенталя, смело представившего линию развития европейского движения «Моральное перевооружение» как линию, предвосхищённую Волошиным, Э. Менделевича, как по Нострадамусу, отслеживавшего по Волошину вехи мировой истории XX в. Примеров поэтической прозорливости в самом деле хватает: от «<большевики> принимают лозунг «За единую Россию» и поведут её к единой державии» (в 1920 г.) до «Вы взвесили и расщепили атом» (в 1923 г.) (5, 199)<sup>1</sup>. Но не стоит упускать из виду природу ясновидения творца: это «возведение своего опыта, чувства, переживания до широты общего закона», как замечал М.А. Волошин.

Мгновение как всевременная точка пространства однажды предстало Максимилиану Александровичу Волошину не чем иным, как Лобным местом среди предвесенней слякоти 1917 г. Вскоре после февральской революции, по рассказу самого Волошина, молния мгновения пронзила времена бессознательной исторической памяти, когда возле Лобного места поэт увидел слепцов, поющих стихи «Голубиной книги». Что-то замкнулось циклически, сошлись концы с концами в восприятии назревающего социального катаклизма. Суть происходящего была схвачена интуитивно в единый миг, но месяцы и годы понадобились для того, чтобы сознательно рефлексировать ниспосланное Мгновением видение «текущей современности» – Революции и Гражданской войны.

Интеллектуальный и творческий этот процесс постижения смысла инсайта запечатлён в публицистике М. Волошина 1918 – 1920 гг. (наиболее полно в статье «Россия распятая»), в поэтической книге «Путями Каина», в поэме «Россия», в стихотворениях двух книг – «Неопалимая Купина» и «Паралипоменон», при жизни поэта распространявшихся лишь в списках.

М. Волошин, приведя примеры популярности своих стихов в обоих станах (среди них характеристика: «Вот самые лучшие, несмотря на контрреволюционную

форму, стихи о русской революции»), отмечал: «Я горжусь <...>: когда вся Россия не могла столкнуться ни в чём, найти такие слова, которые одинаково затрагивали и белых и красных, и именно в определении сущности русской революции» (2, 262).

Неожиданно стала сбываться мечта, лелеемая в сердце поэта с 1905 года (напомню: тогда он только что сделался масоном и начал готовить доклад «О России» для братства). То была мечта о социально-мистическом служении человечеству! А.Р. Минцлова, загадочная теософская фея русского символизма, обладала одним несомненным даром – улавливать и формулировать, предъявляя как собственные прорицания, безотчётные чаяния собеседника. Мало того, что Минцлова транслировала М. Волошину идеи Р. Штейнера об оккультной роли, которую России вскоре предстоит сыграть в уже начавшейся во Вселенной «Страшной битве»<sup>2</sup>, месяц спустя посвящения Волошина в масоны Анна Рудольфовна гадала ему по руке: «Вы сыграете очень видную роль в общественном движении... решительную роль... Нет, не в политическом, а скорее в духовном» (3, 116).

Ключом к тому, какого рода опыт лёг в основу культурософского волошинского прозрения 1917 г. – обретения смысла – и последовавшей работы по ретрансляции этого смысла, служит, на мой взгляд, дневниковая запись Волошина, сделанная в 1907 г. (в разгар его семейного кризиса): *«То, что я не смел требовать для себя, я должен требовать для другого. Тоска этой жертвы – я знаю её очень давно, с отрочества. Она приходила ко мне и повторялась, как предвестие, так же, как и тоска смертной казни. Одно наступило, другое наступит. Это я знаю теперь»* (3, 156). В историософском контексте размышлений Волошина о судьбах России жертва, жертвенность стали лейтмотивом многих его поздних произведений, в частности таких крупных, как «Русская Революция», «Россия» и «Россия распятая».

Уже в 1920 г. Волошин констатирует позже ставшую очевидной многим истину: «В русской революции прежде всего поражает её нелепость: <...> нет ни капитализма, ни рабочего класса <...>. Между тем, именно у нас борьба между этими несуществующими величинами достигает высшей степени напряжённости и ожесточения. На наших глазах совершается исторический абсурд» (5, 68–69). Исторический абсурд, приходит к выводу поэт, уподобляя раны своей страны

стигматам Св. Франциска: слишком близко к сердцу Россия приняла противоречия, ей чуждые, назревшие в Европе:

Вся наша революция была  
Комком религиозной истерии:  
<...> Мы созерцали бедствия рабочих  
На Западе с такою остротой,  
Что приняли стигматы их распятий.  
(2, 154)

Но мало того, что «Русская Революция – это <...> нервно-религиозное заболевание», оно, оказывается, ещё и «как поварные болезни – оспа, дифтерит, холера». «Россия <...> совершает в настоящий момент жертвенный подвиг, принимая на себя примерное заболевание социальной революцией, чтобы, переболев ею, выработать иммунитет и предотвратить смертельный кризис болезни в Европе» (5, 70). Значит, Россия – не Св. Франциск, но сама – Спаситель?! Россия, верит Волошин, не умрёт никогда... умирая вечно:

Мы погибаем, не умирая.  
Дух обнажаем до дна.  
Дивное диво! – горит, не сгорая,  
Неопалимая Купина.  
(2, 129)

Итак, подведём промежуточные итоги: Россия – женская сущность, ради спасения, как мы увидим, европейской культуры принимающая на себя *вечные* (NB! синоним – «адовы»!) смертные муки (что по сравнению с ними *часы* той страстной пятницы?!). И казнь России (вот и второе, парное тоске по жертвоприношению, искушение юного Волошина вызвано ассоциативным рядом)... и казнь её – не крест (внешнее орудие – внешнее зло), но яд болезни, зло внутреннее, проникающее, искажающее божественный замысел тварного тела (социального организма России). Это как если бы Спас дал осудить себя не на Голгофу, а на... заражение «дурной болезнью». И страдал бы ею не годы, но вечность – у всех спасённых на виду.

Именно так в своём окончательном виде оформилась давняя этическая идея Волошина о возможности преодоления зла путём принятия его в себя и освящения собой. Эта мысль была отточена поэтом в 1923 г. в формуле:

Не бойтесь страсти,	Приняв в себя,
Не противьтесь злему	Собой преобразить.

Проникнуть в вас:	<...> Обеззараженность –
Всё зло вселенной должно,	Отнюдь не добродетель.
	(5, 196–197)

Вечно делящаяся казнь... Муки *адовы* не только по силе их и нескончаемости, но и по функции: смертные муки за смертный (неискупимый) грех добровольного принятия в себя «всего зла вселенной» (дьявола)!

Этическая концепция преодоления зла посредством его допущения в себя и освящения собою сложилась у М. Волошина между 1907 и 1910 годами. Она нашла одно из первых выражений в статьях о Льве Толстом. В 1924 г. мысль той же чеканки вызвала к жизни вышеприведённый стих из «Бунтовщика» (фрагмент цикла «Путиами Каина»). И она же стала стержнем видения (и даже видения, если угодно) России, характера её искупительной жертвы, её «распятия», пожарища Неопалимой Купины.

Глубже проникнуть в волошинское видение мессианства России позволит нам... нет, не экскурс в социальный мистицизм Р. Штейнера (хотя идеи последнего, безусловно, оказали влияние на формирование историософии М. Волошина). Нам позволит это сделать рассказ Х.Л. Борхеса, написанный 20 лет спустя волошинской поэмы «Бунтовщик». Это рассказ 1944 г. «Три версии предательства Иуды», суть последней в следующем: «Ограничивать его <Бога> страдания агонией на кресте в течение одного вечера – кощунственно. Утверждение, что он был человеком и был не способен согрешить, содержит в себе противоречие: атрибуты непогрешимости и вочеловеченности несовместимы. <...> Бог стал человеком полностью, но стал человеком вплоть до его мерзости и бездны. Чтобы спасти нас, <...> он избрал самую презренную судьбу: он стал Иудой»<sup>3</sup>.

В тексте лекции М. Волошина «Пути Эроса» (прочитанной в начале 1907 г.) имеется прямая ссылка на источник, общий, по-видимому, для Волошина и Борхеса: «Среди легенд парижской Notre-Dame существует безумная и пронзительная легенда об одном аббате <...> мысль его сказала ему: «Если из всего человечества только один Иуда будет осуждён на вечные страдания, то тогда Агнец, принявший на себя грехи мира, не Христос, а Иуда. На нём одном сосредоточены все грехи, страдания и искупление человечества». <...> Иуда – материя. <...> подвиг Иуды – в его позоре и поругании» (1, 33), – резюмирует Волошин<sup>4</sup>.

Пафос скандальной лекции М. Волошина – в том, что нисходящий путь божества – путь установления материальных форм и унижения духа. Этот путь

амбивалентно сопряжён с другим, циклически последующим и, одновременно, предшествующим, – восходящим путём просветлённого духа, высвобождаемого из материи ценой растрепания (во грехе, с точки зрения обыденной морали) формы-плоти. Иуда и Христос, таким образом, – единый двуликий символ, архетипический образ всё того же, очерченного платоновской Диотимой, пути Эроса.

В параболической схеме нисходящего-восходящего (от света во тьму и снова к свету), двуединого пути, вскрытой М. Волошиным в диалоге «Пир», видится мне и космический цикл, узренный Гераклитом: от огня в твердь и снова в огонь – через распад форм мироздания. Волошин не ссылается на Гераклита, но философия последнего, как мы покажем ниже, несомненно питает мысль русского символиста. По сути, путь Эроса, такой, каким его видит по прочтении «Пира» М. Волошин, и есть *литературный* источник Волошинской этической концепции принятия зла и освящения его в себе.

Волошинская Спасительница, Русь, вбирает «всё зло вселенной» и терпит огненные муки Неопалимой Купиной, являя Божественную волю избранничеством вечного проклятия и поругания, подобно Спасу-Иуде Борхеса. Она окупает бессмертие Европы, её цветущей культуры: «Но выживет, не расточив культуры» (2, 154). Однако, опередив Борхеса, Волошин пошёл и дальше него, уступая разве что в афористичности. Чаша «зла и злосчастия» глубже в руках поэта. Рунеберг следовал букве Евангелия, и ему поэтому не пришло в голову явить Спасителя мало того, что «доносчиком, злоупотребившим доверием», но к тому же ещё и «смрадной бабой гулящей», в грехах инфантицида и людоедства повинной (М. Волошин: «Русь гулящая», «Благословение»).

Надежда падших, убогих и «нищих духом», опаскудившихся и искалеченных, расслабленных и... мёртвых уже, христианство – религия *повинных* душ и тел, *винящихся* в грехопадении, немощи, в собственной смерти. Они, *виновные* неизменно, ходили толпой за Сыном, его казни алкая как освободительной казни *себе*, не агнца чая в нём, но козла отпущения. Не удивительно, что в годы мора, зла и злосчастия, переполнивших родную землю, Волошиным (последовательно перед тем: буддистом – дионисийцем – масоном – антропософом – солнцепоклонником) востребован, наконец, оказался и *бог перманентного покаяния*, не возлияниями (дарами от избытка), а излияниями (ущербных) питаемый, *вины* требующий вместо *вина* в качестве жертвы себе.

В суровую годину страны Волошин включил в свой обширный пантеон и Христа в терновом венце язвящих мифологем Его Завета. «В накале мистического опыта всеобщая связь явлений обнаруживается в совпадении событий разновременных, но соединённых духовной связью. <... Совпадение это> выражается у Волошина чаще всего в библейских и евангельских образах, – утверждает Э. Менделевич. – Историческое мышление Волошина было отчётливо христианским» (5, 12, 24). По моему же убеждению, архетипические модели, запечатлённые в библейской мифологии, – сокровища только одной из «палат» творческого арсенала поэта, который сознаёт ограниченными их время и место, как и сферу влияния каждого из сонма человеческих божеств. Обратившись к психологически актуализованной 1914–1921 годами религии вины, Волошин, по собственному признанию, «и Германского дуба не предал, // Кельтской омеде не изменил» (2, 161–162).

К тому же внедогматическая интерпретация христианства Волошиным (начавшая складываться под влиянием как философии В. Соловьёва, так и теософии) не оставляет сомнений. Смещение акцента на женскую божественную сущность – ярчайшее доказательство тому.

Ещё в 1909 г. констатировал: «<...> теперь я знаю, насколько я <...> враг всем пророкам, насилующим душу истинами. Наш путь лежит через вещество и через формы его. Те, кто зовут к духу, зовут назад, а не вперёд» (3, 202), – в 1923 г. Волошин не только не отрекается от своего «мистического материализма», но использует против всякой ортодоксии ту же метафору:

Принявший истину на веру –  
Ею слепнет,  
Верочитель гонит пред собой  
Лишь стадо изнасилованных правдой  
(5, 195)

Язычески свободный от сознания греха первородного, М. Волошин до Первой Мировой войны был безразличен к догматическому христианству. Е. Герцык, сестра поэтессы Аделаиды Герцык, вспоминает: «Мы с сестрой <...> переживали религиозные искания. <...> подходили к православию, отходили – искали чистых истоков его. Вплотную к душе, к совести подступал вопрос о России. Когда Волошин слышал эти разговоры, у него делалось каменно-безучастное лицо»<sup>5</sup>.

Однако годы Мировой и Гражданской посвятили поэта в таинство вины и обратили к раздумьям о личностном, психологическом смысле христианства. Речь, я полагаю, шла не только о «чужой» вине в хаосе смертей, предательств и убийств, свидетелем которых обрёл себя стать Волошин, не захотевший покинуть Крым и Россию в страшные времена. Речь шла и о собственной вине, которую, оказалось, как суженого, – на коне не объедешь...

Образ хадатая, в сандалиях и «хитоне» проповедующего в теплушках и обивающего пороги генеральских приёмных ради спасения чьей-то жизни, утратив античный колорит, в самом деле придаёт Волошину черты страннической святости, православные черты молитвенника – заступника Земли Русской. Но... в чаду тех лет М. Волошину ниспослано было испытание. Вот как об этом пишет В. Купченко: в 1921 г., знакомый с председателем ЧК 3-ей дивизии, «Волошин покори́л комиссара. Настолько – что тот предложил поэту просматривать списки осуждённых и вычёркивать тех, за кого он может поручиться: по одному из каждой партии. Разумеется, Максимилиан Александрович принял это предложение»<sup>6</sup>. В той же книге Купченко приводятся варианты этой истории, почерпнутые из разных источников.

По данным В. Купченко, просматривая один из таких чекистских списков, Волошин был вынужден поручиться за самого себя, увидев свою фамилию. Менделевич утверждает, напротив, что «белые, отступая, приговорили его к смерти» (5, 19). Наличие смертного приговора себе, кем бы он не был вынесен, Волошин подтверждает в стихотворении «Дом поэта»: «И сам читал в одном столбце с другими // В кровавых списках собственное имя» (5, 215). Стала близка, наконец, к воплощению вторая тоска «отрока Макса» (в детстве Волошин, молясь, «младенцем Максом» величал себя) по смертной казни?

Не стал ли этот договор, обросший легендами и, вероятно, преувеличениями, который М. Волошин («разумеется»?) заключил, критической точкой, моментом истины, экзистенциальным пределом – проверкой на практике этического принципа преодоления зла посредством принятия? Тем самым, что спасает «одного из» (но как упустить такой шанс?!), спаситель собственноручно подписывает смертный приговор остальным. Тем страшнее, если «одним из» назначает себя (но кто бы не?!).

Выбор был дан и сделан. Соблазн выбора не отвергнут, ответственность (неизбежного) злодеяния принята на себя. Философ-экспериментатор, Волошин сознательно заразил себя бациллой зла, как «трихинами» революции себя – его Россия. Но преобразилось ли зло, освящено ли было в нём самом? Ответ на этот частный вопрос есть решение вопроса о состоятельности Руси-мессии, по Волошину, он же и есть разрешение Борхесова парадокса Иуды.

Ах, не бывает только-литературных парадоксов, как ни славен был ими когда-то начинающий критик Волошин! «Момент истины», экзистенциальный кризис – может быть, одна из масок творческого мгновения, что пугают людей, используя метафору самого Максимилиана Александровича, проشمыгнувшей аполлинической мышью. Такое мгновение, как мы помним, – вне времени. И вне морали. Задачи, которые оно ставит, не имеют правильного решения. Но любое решение их всегда имеет последствия!

В порядке таких последствий можно рассматривать потребность в сеансах психоанализа, которых Волошин прошёл двадцать в 1926 г. Затем чрезмерно усилились невротические симптомы, и жена, М. Заболоцкая (когда-то не чуждая психиатрии), волевым решением прекратила лечение «Маси». А ведь психоанализ шёл успешно и необычайно стремительными темпами! «Неврастения – вовсе не болезнь, – в 1911 году ещё написал Волошин, – вовсе не признак вырождения – это мучительное состояние духа, беременного новыми силами. Как только эти силы находят себе исход – неврастения прекращается» (4, 398).

Вот из аналитических «Материалов вскрытия» подборка виртуальных картин, усиливавших защитную симптоматику, грубо говоря, – психологический пейзаж того места, где собака зарыта: «Сон. <...> нет времени на молитву. <...> Самоупрёки. <...> Херсонес. Из какой-то ямы вынимают ряд перебитых черепов. Как будто бы слова матери: «Хорошо бы достать цельный». Воспоминания – ближайшее о той пещере вблизи Херсонеса <...> Херсонес... Смывается водой... Появляет<ся> дрожанье нижней челюсти и сжимание сердца. (Как будто страх.) <...> Образ фигуры, заслоняющий вход в пещеру, <...> напоминает того мужчину из детского сна, который ведёт за руку мальчика и девочку, а потом стреляет в них. <...> Странная, всё растущая сонливость, глубоки<й> сон, наступающий ежеминутно. Делаем перерыв занятий на 10 дней» (3, 240–250).

Тут и подросла Маруся, оберегла сон, убаюкала усталое сердце Макса, отогнав Фрейдových (или Сартровых?) мух. *«Хорошо бы достать цельный»... «Хорошо бы достать цельный»... череп.* Хорошо бы достать *ещё* цельный череп... из того списка!

В порядке же иного рода последствий выбора... Не нашлось бы вообще никакого Иуды (Евангельского, не Борхесова), – не принесена бы была искупительная жертва, Личность Сына не состоялась бы (и не нужна бы была)! Кто знает, не пугающий ли момент «принятия зла в себя» поэтом Волошиным предопределил (вспять) неизбежный выбор, сделанный Владимиром – Иоанном – Борисом – Гришкой – Стенькой – Петром – Емельяном... – и снова Владимиром – всем, по определению Волошина, «революционным русским самодержавием» (5, 76)?

Условие стабильности России, по мнению Волошина, лежит в этнопсихологической сфере. «Вольница» и жажда «сильной руки» – не две чередующиеся истерические прихоти национального характера. Они есть два параллельных устоя российской духовности, непримиримые, и в этой-то вражде «единый свод» и образующие. «Железный обруч» российской государственности – компенсация, вынужденная плата за духовную свободу, европейцам, внутренне дисциплинированным, в такой степени не доступную. И, по мысли Волошина, это вовсе не признак дикости и отсталости России: «Анархическая свобода совести ей необходима для разрешения тех социально-моральных задач, без ответа на которые погибнет вся европейская культура; империя же ей необходима и как щит, прикрывающий Европу от азиатской угрозы, и как крепкие огнеупорные стены тигеля, в котором происходят взрывчатые реакции её совести, обладающие страшной разрушительной силой» (5, 74). Так сам Волошин к 1920 г. обнаружил компенсаторные отношения между сознанием и бессознательным, о которых он прочтёт в «Психологических типах» К.Г. Юнга несколькими годами позже.

В 1907 г. молодой Волошин, дневниковую запись которого мы привели как ключевую, не знал ещё, что две его отроческие страсти – по жертвоприношению и смертной казни – могут слиться символически и развернуться «до широты общего закона» при провидческой оценке русской революции. (Всё то же ахматовское: «Когда б вы знали, из какого сора»<sup>7</sup>.)

«У бога прекрасно всё, и хорошо, и справедливо, люди же одно считают несправедливым, другое – справедливым. <...> Всё – едино: делимое – неделимое, рождённое – нерождённое, смертное – бессмертное, <...> бог – справедливость, – утверждал Гераклит Эфесский, не случайно «бог» и «справедливость» ставя в свой ряд антонимов<sup>8</sup>.

М. Волошин, вопреки, казалось бы, здравому смыслу, так же, как Гераклит, в «беспределе» угадывал Божий промысел более, чем в чём-либо, в пытке – знак внимания, в войне (и в Революции) – кульминацию страсти («минуты исторического оргазма» (5, 153)):

Дозволь увидеть	Как спазму страсти,
Сквозь смерть и время	Извергшей семья
Борьбу народов,	Внемирных всходов
	(2, 103)

Как Гераклит... и как русский мужик, в молнии усматривающий милость Всевышнего к испепелённому ею. Страсть «с пристрастием» – вот признак Господнего благословения, по Волошину:

Бог есть любовь.  
Любовь же – огонь, который  
Пожрёт вселенную и переплавит плоть.  
(5, 197)

Метерлинк, в пересказе Волошина, вопрошает демонов взрыва – новоявленных божеств смерти, кто они, враждебны ли они людскому роду, или высвобождены им из недр инертного вещества как новые лики Справедливости, подобно покровителям прежних орудий казни.

М. Волошин берётся сам ответить на эти вопросы. Подобно Гераклиту, узревшему божественность Огня в его амбивалентности и унифицирующей власти («Всем управляет Перун <...> является причиной всего <...>. Грядущий огонь всё будет отделять и связывать»<sup>9</sup>), М. Волошин предполагает будущее Европы в сиянии «строгих ликов богов-демонов взрыва»: «Из огня, как из семени, расцвела наша государственность. Мы привили себе яд огня, и он стал основой всей нашей жизни. Огонь, разъединяющий всё материальное, – очевидно трактует Гераклита Волошин, не помяная, однако, в статье его имени, – стал для человечества цементом духа. Взрывчатые вещества пришли как новый огонь» (4, 177–178).

В 1908 г. М. Волошин склоняется к оптимистическому прогнозу: человечество всё же не будет буквально развеяно по ветру высвобожденными им демонами, но, пройдя через взрыв иносказательный (социальный, скажем), переплавится в горниле «страшных нарушений равновесия силы и морали», перейдёт к новому циклу своего развития, «Чтоб выплавить из мира // Необходимости и Разума // Вселенную Свободы и Любви» (2, 96).

Пятнадцать лет спустя, в 1923 г., опять обратившись к «Путям Каина» (на сей раз с точки зрения эволюции не «орудий Справедливости», но «институтов Справедливости»), Волошин вновь попытается рассмотреть будущее человечества в Гераклитовой перспективе:

Век Прометея кончился – на смену  
Пришёл век взрыва. В горне очага  
Паялся род, алтарь и государство,  
Но очагом отныне будет взрыв,  
Что сплавит мир иным вселенским сплавом.  
(5, 198–199)

Только теперь прогноз поэта не так однозначен.

Революцию 1917 г. коктебельский певец «земли утерянных богов» (2, 63) принимает. Но принимает как естественный геологический, шире – как космический процесс. Обратно тому, как в окаменевшем взрыве Карадага Волошин чуял былой жар лавы и страстную судорогу вулканического извержения, в процессе вскипевшего только что социального потрясения поэт ощутил незыблемый монолит всемирного закона в формулировке Гераклита. Словно стоя у ожившего бы вдруг Карадага, Волошин сознавал себя вовлекаемым в движение по «восходящему пути», казалось, оцепеневших социальных форм.

Неопалимая Купина целой Вселенной предстала Волошину в образе России как в символе, соединяя библейскую и древнегреческую мудрость. «Символ, – даёт определение автор «Демонов разрушения и закона», – не что иное, как семя, в котором замкнут целый цикл истории человечества, целая эпоха, уже отошедшая, <...> целая система познания, уже перешедшая в бессознательное. <...> Отсюда та власть, которую символы имеют над человеческим духом. Истинное знание заключается в умении читать символы» (4, 166) («Макс был знающий»<sup>10</sup>, – именно в этом смысле свидетельствовала М. Цветаева).

Таким образом, не птица Феникс, а Русь для М. Волошина – символ Гераклитова пламенного закона. Такое прочтение истории родной страны едва ли даёт основания для оптимизма: «И в мире нет истории страшней, // Безумней, чем история России» (2, 156). Прежде утверждая родство демонов огня и демонов взрыва, в 1924 г., в эпицентре взрыва обозначив своё местопребывание, Волошин разводит функции демонов: «Европа шла культурою огня, // А мы в себе несём культуру взрыва» (2, 156).

Вот почему, отрекаясь от непреложного прозрения своего античного учителя, Волошин (также и вопреки своему «анархизму»!) приветствует «тяж советских обручей // И тугоплавкость колб самодержавья» (2, 156), которые одни оставляют надежду на безопасность того атомного реактора совести, которым видится поэту Россия (лишь 1924 год не позволяет употребить данный технический термин, но иносказательно Максимилиан Александрович использует именно эту метафору).

И всё же поэтический (он же провидческий) дар не удержишь доводами извинительного малодушия простого смертного. «Но от огня не отрекусь. // Я сам – огонь. Мятеж в моей природе» (2, 119)... Волошин не может не *осознать ступнями* «восходящий путь» распада форм, которым следует он вместе с Россией – Европой – Земным шаром, который нащупал, опершись на плечи Платона (явно) и Гераклита (негласно), ещё в 1907 г. как «Пути Эроса» (в той самой, памятной слушателям, лекции).

Не Гераклит ли, уже познавший Вечность, возвещает судьбы Вселенной устами Макса Волошина из 1923 года?

Вы взвесили и расщепили атом,  
Вы в недра зла заклинили себя <...>  
Вы – факел, кинутый  
В пороховой подвал.

Самовзрыватель, будь же динамитом!  
Земля, взорвись вселенским очагом!  
Сильней, размах! Отжившую планету  
Швыряйте бомбой в звёздные миры.  
(5, 199)

Чтобы быть последовательным в утверждении провидческого дара М. Волошина, его исследователю остаётся только исполниться апокалиптического пафоса в ожидании глобального термоядерного взрыва и застыть пред «ликом ужаса в бесстрастности эфира» (2, 93). Но не следует увлекаться ни социологической, ни какой-либо ещё буквальной интерпретацией поэзии. Говоря об истории, поэт говорит о человеке. Говоря о вселенной, поэт говорит о человеке.

Вечность концентрируется в скользящем лазерном луче сознания человека вовсе не для того, чтобы в мгновении он прозревал эпохи, не для того, чтобы, чуя дух истории, предсказывал будущее по этому аромату. Вечность, как ни парадоксально это звучит в свете нашей индивидуальной мимолётности, – атрибут психе.

Архетипически, внеиндивидуально, человек является «нулевой точкой творческого мистицизма», по Нойманну, в которой (в котором) Природа в своём креативном потенциале приближается к равенству самой себе, замыкает «унитарную реальность» мгновенного постижения. Религиозные учения, культуры и цивилизации (а вдруг – периоды существования миров?) – не более, чем золотая скорлупа, брэнная, как мы знаем из сказки, не более, чем пепел Феникс, осыпавший живое яйцо неистощимого «творческого момента».

Довольно вам заповедей на «не»:  
 Всех «не убий», «не делай», «не укради», –  
 Единственная заповедь: «Гори!»  
 Твой Бог в тебе

(5, 197)

Говоривший только недавно о переплавке людского рода, планеты и Вселенной, в 1926 году М. Волошин вдруг тихо доверит бумаге открытие собственного предназначения: «В уединенье выплавить свой дух // И выстрадать великое познание», суть которого так тривиальна, как только может быть формула предельного ведения – «имеющему уши» откровения:

Как Греция и Генуя прошли,  
 Так минет всё – Европа и Россия <...>  
 Весь трепет жизни всех веков и рас  
 Живёт в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас.

(2, 178)

В этих «всегда» и «сейчас», «всегда=сейчас», «сейчас всегда» слышится мир предвечный, нивелирующий кризисы коллективной идентичности. Через эти две точки провёл М. Волошин свой перпендикуляр, падающий на линию пространственного движения из сфер чистого времени.

---

<sup>1</sup> Внутритекстовые сноски, обозначенные *арабскими* цифрами в круглых скобках (до запятой – номер книги в списке, после запятой – номера страниц), являются сносками на следующие

ПУБЛИКАЦИИ М.А. ВОЛОШИНА:

1. Волошин М. Из литературного наследия. Вып. II. СПб., 1999.
2. Волошин М. Избранное. Минск, 1993.
3. Волошин М. История моей души. М., 1999.
4. Волошин М. Лики творчества. Л., 1988.
5. Волошин М. Россия распятая. М., 1992.

<sup>2</sup> У истоков русского штейнерианства / Публ. К. Азадовского, В. Купченко // «Звезда». 1998. № 6. С. 189.

<sup>3</sup> Борхес Х.Л. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2: Новые расследования: Произведения 1942 – 1969 годов. СПб., 2000. С. 189–191

<sup>4</sup> По данным В. Купченко (1, 38), имя упомянутого М. Волошиным аббата – Эжже. Он был викарием собора Парижской Богоматери и в 1829 г. написал книгу «Подлинный Мессия». Сюжет «ереси» аббата Эжже, видимо, заимствован и Волошиным, и, впоследствии, Борхесом из книги А. Франса «Сад Эпикура» (1894 г.). М. Волошин позже снова обратится к Иуде-Мессии в своей оставшейся незавершённой статье «Евангелие от Иуды».

<sup>5</sup> Герцык Е. Волошин // Воспоминания о серебряном веке / Сост. В. Крейд. М., 1993. С. 233.

<sup>6</sup> Купченко В.П. Жизнь Максимилиана Волошина. Документальное повествование. СПб., 2000. С. 239.

<sup>7</sup> Ахматова А. Стихи и проза. Л., 1977. С. 310.

<sup>8</sup> Гераклит // Материалисты Древней Греции. М., 1955.

<sup>9</sup> Гераклит // Материалисты Древней Греции. М., 1955.

<sup>10</sup> Цветаева М. Собрание сочинений в семи томах. Т. 4. М., 1994. С. 191.